

Р Е Л И Г И Я

Франсуа Мориак

СТРАДАНИЯ И СЧАСТЬЕ ХРИСТИАНИНА

/пер. с франц. В. Антонова/

"Счастье христианина" - единственные страницы в этой небольшой книжке, которые ныне дороги автору и которые он напечатал бы со спокойной совестью. Они однако являются ответом на горький вопрос под заглавием "Страдания христианина", который я эдал 1 октября 1928 года в "Нувель реву франсэз". Лишь прочтя "Страдания", можно понять написанное потом о "счастье". Оба эссе нераздельны, хотя сейчас я рассуждаю об истине иначе, чем при создании "Страданий". Опубликованная в журнале статья одних читателей почти шокировала, а другим показалась слабым лучом и тусклым огоньком, хотя больше всего она взволновала самого автора. Обычно после окончания и выхода книги автор теряет к ней интерес. Я же не могу перечитывать "Страдания" не от равнодушия, а, наоборот, из-за страстности этих строк.

Самое удивительное, что я писал их по просьбе Андре Билли в качестве заметок о "Проповедях" и "Трактате о сластолюбии" Боссюэ, а не руководствовался внутренним побуждением. Согласившись на эту работу, я отнесся к ней серьезно, но без удовольствия, как к обязанности, навязываемой издателем уступчивым писателям. Однако после окончания книги я впервые не мог от нее отделаться и оказался в затруднении: в своей жизни я столкнулся с важной проблемой. В случайной книге и заказной работе воплотилась судьба. Кому-то не понравились в этих страницах полубогохульные слова и он, не чувствуя иронии, требовал от писателя, чтобы тот изложил конечное и самое постыдное возражение: оно не разумно, а лишь притязательно.

Поскольку "Счастье христианина" передает душевный подъем, испытанный в один мирный день, то автор решил ничего в нем не менять, а только добавил не напечатанные в журнале разделы. Разве не заметны теперь в книге самодовольство и некоторая наивность?

Создавая "Счастье христианина", автор говорил не об иллюзиях: о сохранении и стабильности определенного душевного состояния, о чувстве постоянной новизны и как бы неизбежного обновления. Ты ненавидал рутину и тяготы однообразных дел. Но вот благодать одолела привычку, привычка обессилела и больше уж не терзает нерушимую юность благодати.

Чудо это — тонкая водяная струя в камнях, которая порой бурлит, но не утоляет начальную жажду страждущего человека, и только много времени спустя он осознает, что все, стоившее ему когда-то стольких слез, не достойно одной капли воды, "текущей в жизнь вечную".

"Да, но мне нравится жажда, — скажете вы, — и я, как смерти, боюсь дня, когда она будет утолена". Мы все время убеждаемся, что утоление не избавляет от жажды и вовсе не похоже на насыщение. Потребность остается, желание тоже, хотя они ежеминутно удовлетворяются. Времена засухи, омрачающие духовную жизнь, может быть, не только заслуженная награда за наше отпадение и отвержение, но и милостивое промышление благодати, дабы наша убогая природа употребила на благо эти перемены, потому что даже издали она не может вынести вечную лазурь и нетварный свет.

Дойдя до переломного возраста, человек горячо прижимает к сердцу это сокровище, эти знания и убежденность, что благородным можно стать /по формуле Ницше/. Сделанное открытие еще больше удивляет его оттого, что он лучше зрит свое убожество: неблагородная природа может стать благородной. Для Сына Человеческого нет безнадежных случаев, так как низменного не остается, когда приходит Бог.

Если люди от природы благородны, то они должны знать, когда превращаются в подлецов; место, где они спотыкаются; всем незнакомый, но им видимый рубеж, где их мудростью попирает разная мерзость, которая над ними глумится и насмехается. Неизменна лишь конечная и самая главная победа, но и она недостижима для благороднейшего человека, если он не признает свое поражение и не смиряется с трепетной любовью, а не со страхом...

Трепетная любовь... Она должна поддерживать христианина, которого обвиняют в том, что он стремится к счастью, благополучию и покою, как в молодости, обращаясь к сестре, говорил Ницше: "Если ты жаждешь душевного мира и счастья, то верь, а если хочешь быть ученицей истины, то ищи". Ну, а если ищущий нашел, что тогда? Прикинуться, что не нашел? А если он находит крест и получает через любовь силу принять его, то постыдится ли тогда мира, неизменности и кровоточивого покоя, что несет с собой крест для распинаемых на нем?

Многие люди, несомненно, заслужили упрек из "Подражания Христу": "Многие хотят радоваться со Христом, но почти никто не хочет страдать вместе с Ним. Многие идут за Ним до преломления хлеба, но лишь одиночки - до чаши Его страстей". Действительно, многие заслужили этот упрек, а не ответную критику, с которой к ним часто обращаются. Ведь те же люди, которые возмущались, что мы ищем в вере радость и удовольствие, обвиняют нас в болезненной склонности к страданию и в садистском чувстве самоистязания. Великолепно сказала первая настоятельница солемского монастыря: "Совершенно благ один Бог и Его воля. Страдание обладает лишь относительным и заимствованным благом, оно - средство, а не цель. Его не будет на небесах. Хотя любовь в этом мире может возникнуть через страдание, оно для нее не обязательно. Страдание - не заслуга, хотя подчас ведет к заслуге, а если оно не сопряжено с любовью, то обитает в мрачной обители, где ярится злой дух."

Так как благ лишь Бог и Его воля, то верующий, которого интересует не одно наслаждение и который не хочет поддаваться болезненному влечению к страданию, хватается сперва за самый простой способ, т.е. полагается на Того, Кто знает наши истинные возможности и наши ограниченные способности. Дивное домостроительство благодати! Человеку, который жаждет пожертвовать жизнью, надо ежедневно приносить всего лишь небольшую скромную жертву, а он отворачивается от нее. Зато другой, кто стыдится сердечного малодушия, вдруг с изумлением замечает, что сильные руки подхватили и вознесли его на высоты, не снисшиеся никакому Ницше, где пустота, ночь и ничто, и где св. Иоанн от Креста изгоняет мучительнейшим образом из него все, что не есть любовь. Даже самые заурядные верующие ощущают вскоре бремя и крест по силам; едва человек появился на свет, как за ним идет его ангел - надругающийся над ним ангел сатаны.

После этого постыдимся ли мы дарованного нам мира? Вечность начинается для нас в зрелом возрасте, и старость, если мы стоим, будет для нас уже наставшей вечностью. Когда отгремели мрачные грозы отрочества и юности, то верующие в жизнь вечную не удивляются, что, хотя они еще не дошли до последней донны, которая отделяет их от океана, тишина уже

напоминает другую тишину. Тусклое стекло падает, и близок час, когда все отражавшееся в нем гадательно откроется в своем невообразимом совершенстве.

СТРАДАНИЯ ХРИСТИАНИНА

Христианство не выделяет, а упраздняет плоть. "Богу нужно все" - пишет Боссюэ, а у Паскаля читаем: "Господи, все отдаю Тебе".

Конечно, брак - таинство, но в христианском браке женщина обречена всегда рожать, а мужчина - всегда сохранять целомудрие. Паскаль писал о браке: "Это - самое низменное в христианской жизни, гнусно и осуждается Богом". Боссюэ же в письме к госпоже Корнью выражается еще резче: "Оскверненные уже при рождении и зачатые в беззаконии, зачатые в пылу грубой похоти, при чувственном возбуждении и помрачении рассудка, мы вынуждены до самой смерти бороться со злом, поразившем нас при появлении на свет".

В тунисских городах, где я бывал во время Рамадана, хорошо видна привлекательность ислама. Это - п р а к т и ч - н а я религия, к которой народ привыкает без чрезмерных жертв; в ней не требуется невозможное, не умерщвляется естество и бедное животное не гонится прочь от водопоя и теплого навоза. Нет даже намека на христианский императив, который нам кажется сперва безрассудным: умереть, чтобы родиться заново. Все так, но зато народ разложился, изъеден проказой, раса размыта низкими инстинктами, как пляж без мола.

Но одно мы сделать не в силах: закрыть глаза на "хрупкую и обманчивую телесную красоту", как ее называет Боссюэ. Да и он сам патетически возмущается об этом немислимом Божьим требованием: "О Боже... кто дерзнул бы молвить об этом могучем и постыдном природном биче: о вожделении, которое соединяет душу и тело столь нежными и прочными узами?" Вот истоки драмы: душа и тело связаны вожделением. Можно было бы победить желание и отвергнуть тело, которое всего лишь тело. Но ведь любит-то душа и душу любят. Как же не любить то, что любишь? У нас нет одной души для желания, другой - для поклонения, третьей - для любви. Одна сущность в нас

поклоняется, жаждет обладать и обнять то, что она обожает. Нельзя служить двум господам, а тем более — любить с нежностью два естества. Надо рискнуть прямо взглянуть на требование христианства. Толпы, наполняющие по воскресеньям церкви, не ведают, что творят; они повинуются неизвестному для них закону.

Христианский Бог требует не просто любви, а любви к Себе одному. Ему нестерпимо, когда хоть один наш вздох обращается не к Нему, ибо всякая другая любовь это — идолослужение. И это требование разумно в высшей мере. Тварь нельзя любить, не обожествляя ее. Одна она нужна, она становится на место Бога: на небе, где Он есть, и в аду, где Его нет.

Вы скажете, ведь есть же законные привязанности: семья, друзья. Разумеется! Но эти привязанности все же не любовь, а как только они превращаются в любовь, то возникают преступления, да еще страшнее прочих: кровосмешение и содомский грех.

Неверно видеть в мистиках особых христиан, поскольку они-то и есть единственные настоящие христиане. Любить значит стремиться к обладанию. Устремляясь к Богу, мистик изнуряет себя, как плотяной человек, обращаясь к тому, что он любит. Обрести Бога, обладать Им — вот его цель. Оттого священные излияния мистиков, возмущающие теплохладных, так похожи на язык страсти.

Велико счастье этих Божьих Возлюбленных, ведь они растворяются в любимом. Прав Боссюэ, жалея сластолюбцев, что чахнут из-за тварного существа: "Тварь это — ничто, она даже не способна вместить самоотдачу другого существа". Она может, правда, это сделать, но всего на несколько секунд. Лишь на один миг! В краткое мгновение плотского слияния нам чудилось, что мы одно, но вот нас опять двое: мое и твое тело, стена, грудь затворена: замкнутый мир плоти и крови, вокруг которого мы вращаемся словно жалкий спутник.

Мистик же, как река в океане, может раствориться в своем Боге. Бог ведь воплотился и, не богохульствуя, можно утверждать, что в мистической любви все присутствует в очищенном и обожествленном виде, все, даже привязанность к "хрупкой

и обманчивой телесной красоте". Христианский Бог воплотился, стал плотью и обитает с нами. Поэтому Боссюэ, размышляя о стопах Господа, которые лобызает Мария Магдалина, дерзает написать такую удивительную фразу: "Миро, слезы, волосы, всё воочию..."

Вполне вероятно, что людей, подобных Боссюэ или Паскалю, возмущает безумие, из-за которого мы жертвуем вечным ради бренного. Это безумие столь удивительно, что стоит приглядеться к его доводам (хотя глупо думать, что у безумия могут быть доводы).

Чтобы исцелить нас от этого безумия, некоторые апологеты прибегали к приему, который, как видно, не очень-то эффективен. Они указывают на эфемерность людских привязанностей. Они повторяют: что за пустое занятие — в конечное вмещать бесконечное, соединяться с будущим трупом!

Недостаток этого приема состоит в том, что он взывает к нашему рассудку совсем не так, как надо. Он апеллирует к благоразумию тогда, когда даже самый уравновешенный человек пребывает в неуравновешенном состоянии.

Настоящая любовь всегда безумна. Боссюэ восклицает о ней: "Явное безумие и самое безумное из всех безумий!" Оттого-то и напрасны доказательства, ибо безумец не рассчитывает, не сравнивает, не ищет выгоды, а повинуетя страшному долгу: своему пороку, заблуждению и любви.

По словам Паскаля, это — одна из неведомых разуму причин любви, которую не искоренят, а, наоборот, могут усилить самые красноречивые речи проповедников о конечном итоге или страсти. Будучи грешниками, мы сильнее прилепляемся к бренному, как мы знаем, существу. Чем чаще нам повторяют, что его юность длится всего сутки, красота увянет, а тело обречено на тление, тем сильнее мы хотим прижаться к нему, тем больше наше желание остановить вечность в мимолетных объятиях.

И рассуждения Боссюэ только наполняют нашу грешную любовь отчаянием, отчего иступление возрастает во много раз.

Отчаяние никогда не покидает любящего, который обладает метафизическим чувством, и тем сильнее прилепляется он к

плоти, влекущей его в неизбежную бездну.

Это непрерывное исчезновение любимого существа, это течение мгновений удерживает нас от разлуки с ним.

Пока ты не любил, ты не считался со смертью, но, полюбив, ты уже не можешь избавиться от чувства обреченности существа, которое тебе дороже жизни, дороже самой души.

И не со своей смертью, а со смертью любимого существа не можешь ты примириться.

Когда Боссюэ в своей знаменитой проповеди о смерти решил "развернуть могилу перед двором", то наполнявшие Лувр молодые придворные в ней увидели, наверное, не свою плоть, а желаннейшее для них тело. Сколь пылко описывает проповедник смерть обожаемой женщины, но, выйдя из часовни, некоторые слушатели столь же пылко бросились к обреченной на погибель добыче, но пока, недолго, все еще прекрасной, живой и полнокровной!

Для атак христианских наставников грешник неуязвим и по другой причине. По его мнению, большинство религиозных писателей и проповедников не очень хорошо различают любовь и блуд...

Когда они говорят о позоре, скверне и мерзости, то пылкий влюбленный, которого страсть возвысила над самим собой и который считает, что избавился от самолюбия и тут же готов к самопожертвованию и самоотречению, нисколько не смущается этими описаниями и страшными картинами.

Есть что-то от непорочной красоты, не поддающейся самым тяжким заблуждениям, в порыве, обращенном ко Творцу, но отклонившемся от Него ради твари.

Первое место среди всех "обезумевших истин", о которых Честертон сказал, что ныне они разбрелись по миру, надо отдать романтической идее о любви, всегда святой и невинной, ибо она — любовь.

Верно подмечено, что любящий не чувствует себя преступником. Это внутреннее убеждение сильнее всякого благоразумия.

Есть еще одно тончайшее искушение, которому грешник поддается по естественной склонности: он верит в искупительную силу страдания, а в какой, даже счастливой любви нет

бесконечных горестей? Страсть это — страдание. Христианин чувствует, как будто он ежесекундно искупает свою любовь. Он находит в себе неиссякаемый источник все возрастающей и неизбывной скорби.

Став одной сплошной раной, человек меньше боится Божьей кары. Ведь он вдоволь настрадался. Куда можно еще ударить? На его жалком теле и в изнуренном сердце уже нет места, которое бы не кровоточило.

Вот неоправданная дерзость, за которую однажды Бог может и покарать, потому что по учению Церкви искупление приносят не сами страдания, а страдания принятые, взятые на себя и пережитые сообща со Христом в духе покаяния и раскаяния.

Если вам любезен ваш грех, то, распинаясь, вы ничего не приобретаете и все ваши слезы втуне: таков закон.

Однако, в приверженном страстям христианине сильнее этого закона живет опасная иллюзия, что он будет спасен из-за своих страданий и из-за своей любви.

Часто христианин-грешник поддается еще одному миражу. Глубоко погрязнув в страсти и заплутав в лесной чаще, он начинает убеждать себя, что для него нет возврата. Дьявол нашептывает ему, что даже ради собственной души лучше идти вперед.

Такой христианин, когда страсть отгорит, может быть, придет к Господу с опаленными золой стопами, пройдя сквозь дым и огонь и умирая от жажды. Он "замкнет круг", возвратясь к исходной точке, к благочестивому детству, к своим молитвам, угрызениям и своей чистоте.

Бог это — охотник, идущий по следу и подстерегающий добычу у лесной опушки. Он знает, где бредут наши жалкие тела. Он видит следы людской дичи, которую инстинкты гонят в одно время, по одинаковым тропам, к одним и тем же наслаждениям.

Бог терпелив и знает, когда надо затянуть петлю, чтобы удушить зверя. В своей проповеди о покаянии Боссе говорит: "Все тропы, где вы могли заблудиться, исхожены, все пути, по коим можно пройти в душу, объезжены, все испробовано: на-

дежда и страх, ласка и сила, геена и рай, неизбежная смерть и неопределенная жизнь."

Однако у Бога-охотника не всегда бывают умелые загонщики. Порой они вспугивают дичь, а не гонят, как должны, к Нему.

Они похожи на псов, что вцепляются в штаны, когда вы собрались уходить.

Итак, они решились и вступили в игру, но с той ли карты пошли? Из-за своего подспудного смятения они беспощадны к любой Федре, которая захотела оцепенеть и пылать. Они действуют ~~беспощаднее~~ бессердечнее, потому что не колебались в при выборе, да и искушение бежало от них, а не они от него.

Святые — люди иного склада. Умирая, арский священник говорил, что, даже если бы вечности не было, то он все равно бы не сомневался, что, любя, он жил правильно. "О пылкий влюбленный!" — восклицает Боссюэ о св. Франциске Паулинском.

Любовь Бога, а точнее Богочеловека — Бога, Которого мы вкушаем в хлебе и вине, это — реальность, и не будь даже сверхъестественного, она все равно бы оставалась таковой. По словам Боссюэ: "Только христиане могут гордиться, что их любовь это — Бог."

Вот почему у святых и большинства мистиков нет того мрачного неистовства, с которым некоторые благочестивые люди относятся к плотяному человеку. Да, святой испытывает к нему сострадание, страх перед грозящей несчастной душе опасностью, даже омерзение из-за точного знания "*sub specie aeterni*" мерзости греха, но при этом они всегда исполнены нежной любви. Горячее желание спасти заблудшие души часто толкает святых на рискованные поступки, но они никогда не ожесточаются, их никогда не ослепляет злоба, не охватывает зависть.

О чем же ревнуют настоящие святые? Разве нет в них любви? Св. Бернارد так призывает св. Дух: "Лобзание уст Божьих, река радости, река чистой амброзии..."

Боссюэ тоже был знаком с этой чистой любовью, хотя в молодости он предавался плотской любви и даже чуть не под-

писал проект брачного контракта, когда был дьячком. От природы он не был бессердечен. Хотя он отличался необычайной строгостью и в нравственном отношении ближе стоял к янсенистам, чем к иезуитам, но в его проповедях прорывается жалость испытываемая к плотяному человеку. Боссуэ вспомнил, конечно, о своей, вероятно, бурной молодости, говоря, что "надежда это — самая приятная из страстей"; а какие краски он находит, изображая юношу в похвале св.Бернарду!

Забыл ли Боссуэ совсем о своем юношеском пыле? Ему страшно любить! Он боится, чтобы его любили! "Сердце все еще любит... Ему не нужна искра. Но я ничего не сделаю для этого... Свершить поступок, испустить вздох, подмигнуть, появиться, о, это уж слишком".

Даже наслаждаясь Божьей любовью, Боссуэ помнит о человеческой любви. Он еще боится стрел, которые пускает другой человек. Вот отчего он с такой братской нежностью думает о душах, которым грозит опасность. Представим его на кафедре, когда, оглядывая огромное собрание, он как бы ищет падшие души, чтобы силой вернуть их к Богу: "Разве среди вас нет растроганной души, которой делается стыдно, что она предавалась излишествам и разврату? О душа, я ищу тебя, какой бы ты не была, и не вижу тебя..."

Боссуэ не был фарисеем, который возмущается, если грешная душа не сразу отказывается от того, что любит. Он изучил глубинные причины, по которым сердце всегда медлит предаться Богу, изучил, чтобы побороть их. Как хороши его слова о Марии Магдалине: "Она — в смятении и тревоге, ей уже не мила прежняя жизнь, но ей нелегко так сразу все изменить, ибо ее кипучая молодость просит дать еще несколько лет; снова появляются старье привязанности и как бы втайне сожалеют о столь резком разрыве. Она сама удивлена своим поступком, и вот все ее естество решило подождать и немного повременить с решением."

Вероятно, ради душеспасительной цели Боссуэ не раскрывает истинное положение вещей. Славя любовь к Богу и уникальная любовь к твари, он забывает напомнить, что духовные радости, как и плотские, тоже исполнены страданий, и сходных страданий. Мистику известны и внутреннее иссушение, и от-

сутствие Супруга, и богооставленность.

Если в любви среди людей можно делать упреки обманувшему или покинувшему нас существу, то преданная Богу душа наперед знает, что ее Возлюбленный никогда не ошибается, что Он вправе принять или покинуть нас, и что мы должны благодарить Его, дарит ли Он нас Своим присутствием или оставляет на время.

Верная душа видит в испытаниях, которым Бог ее подвергает, действия беспредельной любви. Ничто так сильно не обогатило наши представления о Божьей любви, как терпеливое, многовековое стремление сонма святых душ постигнуть и полюбить отсутствие Супруга, Его удаление и Его непроницаемое молчание. И Паскаль вкладывает в уста Христа знаменитую фразу: "Ты не искал бы Меня, если бы не нашел уже", а у автора "Подражания Христу" читаем: "Когда вы думаете, что далеки от Меня, Я нередко ближе всего к вам".

Грешник полагает, что многие души все равно не выдерживают проверки богооставленностью и молчанием. Всё еще испытывают жажду многие из тех, кто пил воду, обещанную самарянке.

Но и тогда христианин торжествует, поскольку знает, что Бог не может обмануться и обмануть нас, что человек не может выстоять до конца и, вкусив тела и крови Христовой, снова возвращается к рожцам, тут же позабыв о великих благодатных дарах и втайне согрешив против св. Духа.

И вот, многие прекрасные священники и люди, посвятившие себя Богу, охвачены унынием и страхом, который они преодолевают, но который подчас смущает их, не зря ли они отреклись от того приятного и преступного наслаждения миром, о коем пишет Паскаль.

Душе, которую Боссуэ пытается уловить, он ничего не сообщает об этом унынии. Уныние, конечно, можно обнаружить и в человеческой любви. Как часто, в часы прозрения, нам кажется безжизненным существо, приносящее нам страдание.

У некоторых благочестивых людей эти сетования и воспоминания, может быть, вызваны только привязанностью к плоти и миру, которая не истреблена, а перенесена в духовный план.

По словам Боссюэ, нет ничего столь взаиморазличного, как жизнь по природе и жизнь по благодати и, действительно, разница — огромна. Множество христиан, даже преданных благочестию, которое направлено к очищению, и полагает, что достигло его, на самом деле обуреваемо нескончаемой похотью.

Возможно, что Бог это — награда для отвергнувших все чувственные радости, даже радости, созданные Богом.

Он требует, чтобы мы прежде всего искали пустыни и лишений.

Не только Бога, но и обезьяну — свою карикатуру-скрывает от нас живое тело. Бога может скрывать любая безделица, к которой мы прилепляемся: от нас Бога скрывает даже наше представление о Нем. . . .

Полностью Бог отдает Себя лишь тому, кто все умертвил в мире и себе самом.

Бог, как и чета людей, совсем соединяется лишь наедине со своим творением. Св. Тереза любила говорить, что в мире есть одна она и Бог. Бесконечное Существо входит в душу, сливается с ней до ее обожения, в этом свидании вдвоем, в сокрушении всякой похоти и всякого желания, всякого стремления и даже помысла, всякой удаленной от Бога идеи.

Есть ли иное вожделение, кроме вожделения плоти? Честно говоря, я не смею назвать вожделением жажду познания, тягу к знаниям, которая гложет человека, высокую страсть к познанию, которая лучше всего доказывает наше богосыновство.

В этом вопросе, как и в других, Боссюэ проявляет свою непреклонность. Он изничтожает дух любопытства, которым охвачен человек и которое создало столько чудес. Он слишком хорошо знает, как трудно сковать дамбами море и сколь немногие умы, созданные для науки и открытий, способны ограничить свое святое любопытство. Потому-то он и обрушивается на него в своей проповеди о Церкви.

Нам неловко именовать вожделением дух исследования и интеллектуальную страсть. Однако весьма справедливо, что порой оно невольно овладевает разумом и заражает его своей страстностью. Это особенно заметно у отрехшихся деятелей

Церкви. Долго подавляемая страсть ради своего удовольствия напяливает на себя духовную личину. Для плоти, которая давно отгорела и требует убаживания, весьма важно, чтобы христианство было неверным. . . .

Плоть требует от духа доказательства, что никто не отказывается от ее радостей.

Если бы я взялся за биографию Ламеннэ, то сперва бы описал, как в период "Очерка о равнодушии" человек, который знал о своих тайных глубинах и боялся себя, воздвиг вокруг себя ограду, оцетинился бастионами и сделал еще тяжелее тягчайшие цепи. И вот все эти плотины сносятся одним могучим внутренним приливом, который требует удовлетворения; этот бесформенный и хаотичный поток заполнил все до предела, но он потребовал и получил от разума удивительное оправдание. Это было время "Авнира" и разрыва с Римом.

Поскольку о Ясент Луазон был влюблен в г-жу Мериман, то ему не нравилась папская непогрешимость. 30 августа 1870 года он торжественно заявил, что "отделяется от Римской Церкви, ибо она впала в ересь и раскол и является главнейшим препятствием для христианского единства и прогресса", позабыв добавить, "и для моего брака с Эмилией Мериман".

Нарушив обет целомудрия, он написал любопытную фразу: "Мы любили друг друга! В Церкви настала новая эра. Началось тысячелетнее царство". Плоть и кровь заставили этого несчастного создать новую церковь, в которой он разрешил и даже настойчиво советовал епископам не спать в одиночку.

Докажи, что эти мечты тщетны, — говорит Плоть Духу, — чтобы я блудила в своем закутке, не боясь оскорбить Кого-то и не опасаясь увеличить муки некоего Бога.

Она задает вопрос: "Почему же удовольствие — зло, когда я никому не причиняю вреда?"

Ты великолепно видишь, что удовольствие — зло. Какое тебе нужно еще доказательство, что влечение — слепо, а падение — безгранично? Посиди на террасе кафе и посмотри на поток движущихся лиц. Какие это непристойные физиономии!

"До чего я могу докатиться?" — вот что начертано на этих продажных телах.

Правильно, что сперва сластолюбие унижает, а после губит человека. Это факт. А отвержение? Сколько упущенных путей к

счастью! Сколько извращений! Сколько поражений! Сколько тайных катастроф!

Несомненно, что человек поступает наихудшим образом тогда, когда не делает выбора, отказывается наполовину и уступает всего на пядь. От подобного полу-отвержения страсть только распаляется. Эти люди потеряны для Бога и потеряны для мира.

Знающие закон завидуют порой неведающим о нем. Блаженны далачи, не ведающие, что творят! Какая тебе польза, бедная душа, если ты знаешь, что делаешь?

Есть ли на земле хоть один человек, который, предаваясь плотским утехам, одновременно бы пребывал в Боге? Разве духовная жизнь /независимо от религиозной принадлежности/ совместима с плотской?

В порабощенной наслаждениями плоти всегда живет дух, который не способен прилепиться к сверхъестественному. Человек может колебаться между чувственной и духовной жизнью, но вместе они никогда не уживаются друг с другом.

"О чистота, чистота! Миг пробуждения, наставший при видении чистоты! Духом ведомы к Господу. О мучительное горе!"

Да, мучительное горе! Ведь истина — тут, рядом, может быть, стоит около, с "плачущими ангелами", но между ней и нами клубится мрак сластолюбия, где мы бредем с вытянутыми руками, наощупь, в таком изнеможении, что променяли бы вечную жизнь на миг отдыха на чьей-нибудь груди.

Дабы исцелить нас от подобного безумия, Боссюэ использует страшные образы. Даже атеист не мог бы без дрожи читать его проповедь о закоснелом грешнике. Хотя я не желал бы потворствовать трусливому стремлению к самоуспокоенности, мне все же кажется, что великий епископ в своей речи перегибает. Изображаемый им грешник, это — существо, которое может противиться благодати или принять ее. В противоположность ему, Бог — суров и, пожалуй, почти простодушен; Судья вершит закон и не верит, что имеет дело с одинокой, неимущей и беспочвенной личностью.

Причину этих поползновений, новых падений и закоснения, обрекающих грешника на вечное осуждение, Боссюэ видит в одной злой и неукротимой воле человека. Его не интересует,

как перед бесконечным Существом предстает каждый из нас: личностью или родовым феноменом.

Я не ищу лазеек и признаю во всей строгости вероучение. Столь же, как земное притяжение, очевидно и то, что мы больше, чем кажемся, и человек не двуедин, как полагал апостол, а многоедин. Сам по себе грешник это — миф. Имеется лишь сумма унаследованных стремлений. Да, нравственная личность существует в той степени, в какой мы сами творим ее в себе. Однако ненужные для такого дела отходы остаются и отравляют нас.

Я с детства наблюдал за борьбой людей, таких чистых, что они даже не подозревали, как называются наклонности, против которых они боролись. Медленно пробивают себе путь подземные воды, преодолевают или огибает преграды, годами как-будто дремлют, но вдруг вырываются изнутри, из несчастного человеческого существа, которое подчас само поражено безотчетно таившемся в нем.

Несомненно, это — закон грехопадения; мы — дети падшей плоти; Бог не искушает нас сверх наших сил; благодать соизмерима с грозящей опасностью, так зачем же прикидываться храбрецом против Бога? Он всегда прав, а мы не можем не ошибаться.

Все это так. Но по какому праву мы приписываем Богу эту равномерную строгость? Каждого ждет отдельный суд. Вы не знаете всех свидетелей защиты. Свидетелями перед лицом вечности предстанут миллионы предков, от которых к нам перешли склонности, унаследованные ими от своих отцов. Одному Богу ведомо, как в ребенке отражается сочетание двух разных, унаследованных от предков тенденций.

Это — гипотеза, но, возможно, не столь уж абсурдная: Бог делает род козлом отпущения за все личные грехи; Он осуждает род ради спасения отдельного человека.

Чтобы сокрушить грешника Боссеэ нашел в Писании беспомощные отрывки. Но ни словом не обмолвился об утешительных. Он хочет, чтобы мы боялись, хочет напугать нас.

Можем ли мы упрекнуть Боссеэ в том, что страшными угрозами он искавил Божий промысл? Ни в коем случае: ведь Христос хотел, чтобы мысль о спасении укоренилась в нашей жизни. Боссеэ стремился убедить отдельного человека,

что потребно одно: достичь Царства и спасти душу. Ее надо спасти, ибо она может погибнуть.

Получается, как-будто Бог, восхотев в конце спасти все творение, не стремится выиграть игру заранее. Возникающая все время вечная антиномия между свободой человека и Божьим предведением покажется нам менее таинственной и по крайней мере более утешительной, если взглянуть на нее вот с какой стороны: игру нельзя заранее выиграть, но под конец она все-таки будет выиграна.

Абсурд, возразит книжник. Верно, но разве в религии абсурд не есть иногда признак истины?

О нет! Пусть последнее слово останется за Боссюэ. Перечитаем его великолепную проповедь о закоснелом грешнике, которую он произнес 1 декабря 1669 года в Сен-Жермене в присутствии короля. Это — проповедь на текст: *hora est jam nos de somno surgere* — "Теперь пришло время пробудиться ото сна".

Никто до той поры не сотрясал уши грешника, погрязшего в скверне, столь страшной угрозой. Боссюэ стремится убедить нас, что Бог, так сказать, по психологическим причинам медлит свершить Свой суд, вызывающий содрогание. Мы, без сомнения, упиваемся беззаконием и полагаем, что правосудие дремлет. Не будем однако доверять этому безмолвию.

Никогда еще не было такого убедительного ответа на вечную отговорку грешника: "Вы же видите, ничего страшного нет, и небо не обрушивается на меня". Ответ Боссюэ: "Когда Бог разгневан, Он заключает Свой гнев в Себе". Пока долгое время что-то в нас восставало против наших пороков, не все еще было потеряно. Содрогание вызывает человек, который смирился со своим преступлением, гордится, бахвалится им и даже беретя вербовать сторонников. Прочтя внимательно несколько строк Боссюэ, виновный должен был бы провалиться под землю. "Когда мы так несчастны, что сразу смиряемся со своими грехами, когда из-за гнуснейшего преступления дошли до того, что отвергли в себе святую правду Господа, ощущение Его длани и Его света, отвергли, отринув суд совести, осуждающий всякое беззаконие, знак Его верховного суда, то сокрушено Царство Божье, свершился дерзостный бунт и наши язвы неизлечимы".

Неумолимый Боссюэ бьет еще крепче: свое обращение мы откладываем на завтра, полагаем, что время пока есть, ибо вечность неким образом воплощается во времени и наступающий год как бы повторяет истекший. И вот Боссюэ говорит: "Морщины на лбу, седые волосы, недуги доказывают спрдна, что большая часть нашей жизни уже прошла и отлетела."

Он бичует нас, когда мы просим повременить, пока не оставит нас страсть, та последняя страсть, которой мы еще пленены. Вы не станете свободнее и хозяином над собой, когда страсть, которая царит в вас сейчас, этот тайный деспот вашего сердца, уйдет из захваченного им царства. В вас останется, как бы его преемник, дитя, как и он, такого же вождения...

Трудно представить, что убежденный этой великолепной речью сластолюбец мог бы после этого устоять.

Грешник ошибочно думает, что, как прокаженный — от язв, он не может исцелиться от любви. Только бы коснуться края одежды, чтобы любовь прекратилась, а рана затянулась! Если бы он лежал при дороге, на носилках, и тень Спасителя сокрушила бы в нем пагубную любовь. Но на все богословские и душеспасительные сочинения, на все страшные проповеди сластолюбец отвечает лишь позорным стенанием: "Не могу, не могу не любить".

Фатальность страсти — давняя отговорка, которая не должна нас усыплять.

Несомненно, что в какой-то момент своего развития страсть пленяет нас и мы не в состоянии справиться с этой опухолью. Верно и то, что имелось мгновение, когда мы еще не утратили контроль над собой. Хорошо бы написать очерк под заглавием "О воле в любви". В какой-то миг мы еще можем вырвать в себе этот росток. Вспомни смутное время, когда ты играл с огнем, считая себя его хозяином.

Ты вздыхаешь: "Если бы я предвидел, что мука столь велика!" О лицемер, признайся, что эту муку ты предчувствовал, заждав и призывал.

Человек, для которого любовь соединена с болью, ее восхваляет и восхищается ею. В числе любящих быть почетно, ведь это сильно возвышает над другими людьми — любимыми. При этом

подразумевается, что люди делятся на два вида: убийц и жертв, т.е. на страстные сердца, ежеминутно осыпаемые ударами, и на палачей, которые ранят, даже невзначай, порабощенное существо. Тайный яд скрыт в их самых безобидных словах.

Страдают и причиняют страдания, безусловно, почти всегда определенные люди. Не думайте, что это вопрос возраста или привлекательности. У какого-нибудь 25-летнего юноши налицо все прелести, но любая его любовь — несчастна. Если его сперва и любят, то недолго, и ему неловко до тех пор, пока он снова не становится жертвой: в конце концов мучают всегда его. И наоборот, можно увидеть сорокалетних толстяков, замученных непритворными ласками и чрезмерным обожанием. Так что дело не в возрасте и красоте, а в характере: тут-то характер правит судьбой.

Как я сказал, ты предчувствовал муку, которая якобы страшна для тебя. Тебе она не навязана, ты сам к ней заранее стремился.

Хвастающие, что умеют только любить, и вздыхающие, что их никогда не любят, почти всегда садисты, ибо они любят страдание, свое страдание; любовь же знают только по ее ударам.

Ты думаешь, что в Судный день тебе зачтется твое горе, но ведь оно может обратиться и против тебя. Будучи несчастным ты на горе ссылаешься, как на извинение, хотя оно-то и есть твоя вожденная страсть.

Как это не парадоксально, но жажда страдания это, действительно, — вождение. Христианский моралист не ошибся бы, увидев в этом чувстве извращенное призвание. Особая сила христианства в том, что оно придает смысл страданию; ведь христианин знает, ради чего страдает: подражая своему распятому Богу и соединяясь с Ним, он участвует в его борении и соработает в искуплении мира. Христос превращает страдание в радость, как воду в вино на брачном пире в Кане. И вот ты обкрадываешь Творца ради твари: ради сотворенного существа и вместе с ним ты стремишься к страданию и им упиваешься.

Ты протестуешь и отрицаешь, что можно находить удоволь-

ствии в подобной муке: "Если бы вы знали, что я переношу!" Верно, но ты ничего не сделал для своего освобождения. Ты ни на что бы не променял муки страсти.

Лучше всего свои жестокие инстинкты мы удовлетворяем на самих себе. Других людей нет иногда под рукой; они нам неподвластны или неизвестна их реакция, зато в муках, которые мы сами себе причиняем, все — наше. Мы следим, как яд, который мы ввели добровольно, течет по нашим жилам. Когда ревнивец не находит в действительности пищу для ревности, то он придумывает и фантазирует. Тут перед ним безбрежные просторы и ничто не удерживает буйство самоистязателя. Напрасны заверения и самые убедительные доказательства для его успокоения; он не остановится, пока не истолкует их в своем духе.

Страсть горя — самая прочная страсть.

Надо, чтобы возникло желание не страдать. Но мы считаем, что не страдать, значит утратить ощущение жизни. "Я-то по крайней мере пожил", — говорит себе несчастный влюбленный. Он, пожалуй, не променяет своего отчаяния на покой.

Тебе кажется, что, если ты вырвешь в себе любовь, то на ее месте образуется пустота. Эту пустоту ты заполняешь всем, только не Существом, Которого глаза не видят, а руки не осязает.

Ты просыпаешься и сразу, дабы удостовериться в своем существовании, ищешь, где твоя боль. Да тут она, верная, как жизнь, и, как солнце уже знойного дня, она будет до самой ночи царить над тобой. И от этого страшного сияния все погибнет, смешаются люди и вещи; вдали от всех, в раскаленном воздухе, ты будешь заниматься своими делами. Ты уходишь, присаживаешься в сторонке и раскрываешь книгу. Однако буквы пляшут перед глазами в этом ослепительном свете. Принимаешься читать страницу и не в силах следить за неудовимой мыслью. Чужая мысль не может достучаться до тебя. Выхода нет. Душная любовь и душный полдень. На горизонте ни облачка. С равнины не доносится ни звука, разве что курица в сухих листьях около тебя. Не жди дождя! Хотя ты не можешь вызвать тучи в раскаленной лазури, ты все-таки в состоянии нарушить зной своей страсти. Взгляни на этот взор и таинственную улыбку в себе,

и как-будто погода переменилась, по листьям запрыгали крупные капли и вот, наконец, облегчение и слезы.

Надо простить христианским писателям, что они любят пользоваться страхом, поскольку страданием вряд ли отведешь нас от грешной любви. Ад страстей нас не пугает, ну а вечный ад? Для верующих эта угроза должна быть наиболее действенной.

Учение об аде страшно настолько, что даже верящие в него не могут представить себе ад, и это значительно лишает его силы воздействия.

Я верю в ад, как и во все, чему учит Церковь (кстати, Она ничего не прибавила к словам Христа: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный".)

Вечный огонь. Но одно верить в этот ужас, другое — вообразить его. Когда мать грозилась отдать нас буке, мы с тем же доверием и любовью прятали свои испуганные лица в ее юбке.

То, во что мы верим, вообразить нельзя, и богословие бессильно в этом помочь. Я верю, не пытаюсь понять. Говорят, ад загла Любовь. Бога смещивают с рассерженным влюбленным, который предается мести. Подобная мысль повергает нас в ужас. Хотя мы жестоки и грубы, мы все же способны на любовь, даже если нас не любят; способны отдать все, ничего не получая. Какой любящий не уверен, что ни отказ, ни измена не положат конец его любви? И если наши бранные сердца таковы во времени, то не таким ли должен быть в вечности Бог — вечное сердце?

Надо верить во все слова Христовы, во все церковные догматы и в этот страшный ад, который больше укрепляет, чем пугает сластолюбцев. "Это слишком ужасно, чтобы быть правдой", — говорят они. Но даже если это неправда, то они рады, что другие тоже попадут туда.

Пусть это страшно, но это — правда. Однако не Бог несет ответственность за ад. Ад создается выбором человека; сам человек перед лицом вечности добровольно решает не быть с Богом (но есть ли такой человек?).

Ад — не статичен, он изворотливый ум. Бес.

Похоть, в которой закоснело падшее человечество, можно победить лишь с помощью более сильной услады; янсенисты именовали ее победоносной усладой Благодати. Но тайна заключается в том, что наслаждения Благодати это — бескорыстный дар Божий. И даже если он дарован, все равно, как это мучительно! Оставаясь человеком плоти, христианин разрывается на части.

.. "Нельзя служить двум господам", но растерзать тебя могут два господина.

"Или одного любишь и другого ненавидишь..." Увы, мы по-прежнему можем любить преданного нами Бога, тем более, что у нас, плотяных людей, нет ощущения, что Он обижен нашей изменой. Грешнику нелегко убедить себя в этом, а бого-словам трудно его переубедить. В заблуждение нас вводит божественный характер, придаваемый мирской любви бесконечным объектом, от которого мы ее отвратили.

Любопытно, что о религии писатели любят поговорить в спорах, где плоть занимает главное место, делая это не инстинктивно или кощунственно, а потому, что даже в самой плотской страсти остается что-то религиозное. Этим писателям и в голову не придет придать своим рассказам налет какого-то мистицизма или в качестве приправы воспользоваться возвышенными вещами. Разве можно описать отлив и прилив, не сказав о луне, а движения сердца изобразить без Бога, даже если они не обращены к Нему? Такие писатели не считают, что они богохульствуют.

Развратный современный ум привык соглашаться с тождеством противоречий. Приятное безумие, избавляющее от выбора: поклониться Богу в Его творении и смириться перед Богом в любовном влечении.

Этот подлог столь очевиден в современной литературе, что любой честный христианин не должен забывать: пока он не сдастся или не отречется, его будут гнать из последних укреплений. Отречение... Уже само слово вызывает в самом теплохладном христианине негодование, охватившее Симона-Петра при предсказании его троекратного отречения. Необходимо, чтобы прочь унес всё порыв пока неиспорченного сердца.

Но маловерие тормозит сердечный порыв. Сами апостолы, пребывавшие в тесном общении с Христом, умоляли Его: "Господи, умножь в нас веру..." И Он с печалью отвечал им: "Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали бы сей горе..." С горчичное зерно. Что же такое вера христианина, который мнит даже себя очищенным? Выше ли она надежды и страха? Надежды на жизнь вечную, страха перед осуждением. У преследуемого Богом сластолюбца существует постыдный страх, что надо ради малости отказаться от добычи. Убожество, которым он наслаждается, это — очевидность; ей противостоит лишь обетование и угроза.

Вот отчего сластолюбец требует не просто знамения, а осязаемого знамения. "Если не вложу ладони моей в рану ребра Его..." Эту дарованную Фоме благодать мы получаем чаще, чем нам кажется. Паскаля утвердило в вере исцеление св.Эпиной маленькой Перье, а также "огонь", который он видел и который жег его сердце в понедельник, 23 ноября 1654 года, с 10 с половиной вечера до 12 с половиной ночи. На листочке, который Паскаль носил зашитым в одежду, в память об этой блаженной ночи, он, упомянув об этом огне, дважды написал "Очевидность".

Отныне Паскаль уже спокоен и восклицает: "Если они верят, что благо человека заключено в его плоти, а зло — в том, что уводит его от чувственных наслаждений, то пусть они в них погрязают и гибнут".

Сластолюбец отвечает на эту насмешку сходными словами: "Если они верят, что благо человека в религии, а зло в чувственных наслаждениях, пусть они погрязают в самоотвержении и гибнут от него..." Бесконечный спор, потому что его не разрешить здесь. В него вовлечены даже самые далекие от христианства люди. Христос всех заставляет делать выбор. Кто не с Ним, тот против Него. Вам не дано быть вне игры.

С Христом началась для человека драма. Из-за Него мы оказались в ситуации, о которой люди до Боговоплощения едва догадывались.

Рано или поздно нам придется выбрать, надо выбрать. Но мы хотим потянуть время. Мы слышали, как Боссюэ обличал ил-

лювию, что с наступлением старости кончится пора любви и мы с готовностью отдадим Богу сердце, свободное от дел. Разве мы уже не достаточно пожили для понимания того, что "любят постоянно, что бы не случилось", как писал Боссуэ в "Речи о любовных страстях"? Всякий, кто входит в племя влюбленных, рискует остаться влюбленным до глубокой старости.

Ведь сердце не стареет вместе с телом. При взгляде в зеркало на свое лицо нас иногда охватывает изумление, потому что мы не следим постоянно, как медленно разрушается наше тело, зато всегда пребываем в общении с нашим нестареющим сердцем.

.. Сердце не слушает предупреждений плоти. Ведь часто эти предупреждения зависят от физического состояния, а не от ослабления и охлаждения крови.

У стариков. — юношеское сердце. До последнего дня придется терпеть страдания.

.. Мы никогда не верим, что настал час выбрать Бога. И мы будем до смертного порога взывать к Богу с мольбой, как мадам Дюбарри в Сансоне: "Еще минутку, господин палач..."

Настоящий сластолюбец и славу любит лишь потому, что она продлевает время, когда еще можно любить человека.

Труднее всего поверить, что в какое-то время наше отношение к своему телу становится важным и гул от гроз наших несчастий докатывается до вечности.

.. Есть что-то забавное в человеческой любви. Серьезный Боссуэ это нам не объясняет, но этот трагический абсурд освещен во всех великих светских произведениях. Эта комариная толчея, эта безумная погоня за существом, которое не смотрит на нас, это равнодушие к человеку, который преследует нас и сам преследуем.

Пылкое сердце любит свой свет на человеке, который в него погружен. Он ослепляет тебя блеском лучей, от тебя же исходящих. Если бы ты смог увидеть его без снопа света, который направляешь на его тело... хотя порой ты так его и видел. Но твои узы стали такими прочными, что ты, боясь порвать их, не можешь глядеть на любимого без этого наведенного блеска.

От времени твои узы делаются крепче, и однажды ты становишься столь уверенным в себе, что можешь с полным правом отстаивать созданный твоим безумием объект, даже если в нем нет приписываемых тобой достоинств и он жалок; все равно ты любишь его таким, каков он есть.

Этот объект ты создал и вообразил на заре своей страсти, но вот пути впились в тело; ты в ужасе пытаешься увидеть его в истинном свете, сравниваешь с другими, начинаешь презирать себя и, хотя тебе это удается, петля не ослабевает.

Бывает, что любимый человек даже выигрывает, утратив навешанные на него украшения. Когда смуты фальшивые тона, выявились скромные, но реальные достоинства, которые привязывают тебя сильнее, чем иллюзорная привлекательность.

Нет уже того, что сперва соблазнило тебя в этой женщине, и ты понимаешь это. Но едва исчез мираж, как любовь прильнула к этой скудной земле, куда завлек ее мираж.

Из-за того, что я любил то, что не было тобой, я смог полюбить тебя такой, какая ты есть.

Чтобы я тебя любил, тебе больше не надо быть иной.

На берегу сластолюбия христианские учителя кажутся ребенком, которого блаж. Августин увидел во сне, и который пытался вычерпать море.

В бегстве наивный Боссуэ видел прекрасное средство от любви, как-будто при разлуке мы лишаемся любимого предмета! Любовь познается в одиночестве. Вас рядом нет, но вы — мой господин. "Чтобы сказать, как я люблю, мне всегда необходимо одиночество...", — признавался аббат Дякордер.

Чем дольше разлука, тем больше страдание: ты убеждаешь себя, что любишь слабее. Однако, вопреки Прусту, закон забвения не фатален и действует не всегда. Забвение — лишь видимость, наподобие того, как зимняя спячка у некоторых животных не является смертью. Разлука — зима любви; любовь забывается в нору и не шевелится. Такая мнимая смерть может длиться месяцами, но вот, увидев солнце-любимого, она оживает как Лазарь и испускает крик.

Если благодать не победит сластолюбие, то оно погибнет только со смертью, нашей смертью. Ибо смерть любимого существа не мешает нам мысленно держать его в своих объятиях. Ве-

ликие мечтатели знают об этом удивительном свойстве мысли, которая в поисках давно исчезнувших или умерших лиц докапываются до юности и вытаскивают их ради своего удовольствия.

Вождедение — это пес, который спрятал кость и выкапывает ее.

Однажды испытанное наслаждение может без конца возобновляться в воображении. Один грех всегда таит в себе тысячи грехов, ведь мы безостановочно воспроизводим его в первоначальном виде.

Как исцелиться от вождедения? Оно ведь никогда не находится в одном месте, это — обширная опухоль, которая поражает все. Нет потому большего чуда, чем обращение к Богу. Так обратился о.Фуко. Я ищу в его жизни мгновение, когда немного тучный и развратный колониальный офицер, известный своим распутством, стал превращаться в бесплотного человека в белом, которого наполняет любовь, когда он освящает в пустыне гостию.

/Продолжение следует/